

# ТЕСНАЯ КОЛЫБЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКОЙ СВОБОДЫ

Человеку, всю жизнь прожившему в России, трудно себе представить, что такое закрытый, компактно застроенный западноевропейский город. Он вырастает посреди лугов и полей внезапно, составляя полный контраст с окружающей природой. Суровые стены на холме или на равнине, а внутри — каменный лес тесно прижатых друг к другу домов, узкие улицы, мощенные гранитом или базальтом, сплетенные в хитрый лабиринт и все как бы состоящие из укромных уголков, в которых так легко укрыться, спрятаться от посторонних взглядов — и быть только самим собою. Там господствует порядок: в самом центре возвышается собор, чуть поодаль — рыночная площадь с ратушей. Неподалеку, на одной из башен, помещают и огромные часы — гордость каждого города, с мелодичным звоном больших и малых колоколов, с движущимися фигурами апостолов, святых и даже самой смерти. И во всём видна миниатюрность защищенного пространства и скученность жизни как результат свободного выбора, во всём столь непривычная для русского человека теснота.

Но стоило только человеку выйти за городские ворота, как он сразу попадал совсем в другой, сельский мир. Простора для тела и эмоций в нем немало, но любое проявление индивидуальности казалось в этом мире подозрительным, а свобода выбора, эта основная потребность мыслящего духа, наталкивалась на непреодолимые трудности.

Контраст городского и сельского пространства разителен. В позднем Средневековье, да и в последующие века, вплоть до промышленной революции XVIII века, человек Запада словно должен был решиться на один из двух возможных вариантов жизни: или он будет до конца горожанином, не понимающим и не принимающим прелестей жизни на селе, или же до конца дней своих — крестьянином или феодалом, презирающим город за его тесноту, мелочность и меркантильность.

Василий ЩУКИН

Классическим примером миниатюрного, идеально спланированного быта может послужить Нордлинген (Nördlingen) — небольшой город на севере Баварии<sup>1</sup>. Фотоснимки из космоса, без труда находящиеся в Интернете, и просто фотоснимки с земли позволяют по достоинству оценить его красоту. Самое удивительное в нем — то, что на плане он овальный, почти круглый, плотно застроенный домами и церквями с красными черепичными крышами; сверху на фоне зеленых, четко разлинованных полей он выглядит как чужеродное тело, как большая родинка на идеально гладкой коже. За городом, на равнине — энтропия, расслабленность и монотонность извечно аграрного ритма. Внутри стен — напряженность, четкая организация рукотворного ландшафта, стерильность городской цивилизации, и никакой природы. В таком маленьком, тесном, скученном городе нет места для вольготности, столь милой сердцу жителям Восточной Европы, а погулять можно только по площади после воскресной литургии.

Кстати, о религии. На рубеже XII и XIII столетий жители Западной Европы, после долгих веков господства религиозного фундаментализма, дождались наконец облегченного, компромиссного варианта загробной жизни — чистилища. Эта кошунственная, с точки зрения христианской ортодоксии, концепция победила в Европе во многом благодаря заметному повышению уровня жизни и стала уступкой по отношению к сильным мира сего, в том числе богатым бюргерам, от пожертвований которых всё более зависела церковь. Последней пришлось санкционировать допустимость обогащения и прочих земных радостей, за что теперь грешникам вовсе не обязательно грозили ввержение в «пещь огненную», плач и скрежет зубовой<sup>2</sup>, при условии искреннего покаяния перед смертью или... оплаченной индульгенции. Тогда же, в XIII веке, Запад заново открыл такую важную вещь, как вексель<sup>3</sup>. Утихли протесты Ватикана, ранее отвергавшего возможность давать деньги в рост, то есть требовать от должника больше денег, нежели занятая им сумма, на том основании, что человек не вправе торговать временем, которое целиком и полностью принадлежит Богу. Новые структуры потустороннего мира, равно как и вновь появляющиеся структуры общественной жизни — братства, корпорации, всё более усиливали привязанность горожан к «торговому» стилю жизни<sup>4</sup>.

Монгольское нашествие в завоеванных Чингисхан городах Центральной Европы заставило произвестить так называемую локацию, то есть принять

немецкое городское право. С этого момента то, что находилось внутри городских стен, жило в соответствии с правами города, которые обеспечивали человеку любого сословия личную свободу и неприкосновенность частной собственности, с возможностью использования последней для собственного обогащения. При этом городское общество требовало от собственника организованности, порядочности, ответственности за свои поступки. Зато вне стен города по-прежнему царил право «сильного» феодала, который бесплатно использовал чужой труд только потому, что был «благородно рожденным».

Если житель города пришел из деревни, он должен был приспособиться к новому для него образу жизни. Это значило забыть о просторах, об открытом горизонте и свыкнуться с теснотой каменной крепости, в которой бурлил человеческий муравейник. Жить приходилось не в собственном доме, а в общей комнате с чужими людьми — мастером, его семьей, другими подмастерьями. Дом на долгие годы, а то и на всю жизнь превращался в угол, вокруг которого всё скапливалась бытовая грязь: помои, человеческие отходы, дым и копоть. Горожанин не мог в такой же степени, как крестьянин, рассчитывать на помощь родственников, ибо в городе патриархальная семья легко подвергалась эрозии, падая жертвой личных корыстных интересов.

Но было и много преимуществ. Жизнь в тесном городском пространстве оказывалось куда интереснее, чем на деревенском просторе. Различные образы жизни, возможность выбора той или иной профессии, ремесла, занятия, общение с разными людьми и неизбежное следствие подобной ситуации — толерантность. Если крестьяне состояли в кровном родстве друг с другом, то горожане в основном составляли сообщество соседей и приятелей, они принимали участие в жизни своей улицы, квартала, цеха, часто становились членом многочисленных «братств» и товариществ. В городе бок о бок жили чернь и знать, люди богатые, бедные и «средние», работяги и бездельники, гении рынка и представители богемы. Здесь говорили на разных наречиях и диалектах, свойственных той или иной местности; в городах побольше, особенно в морских портах можно было услышать иноземную речь. Тем, кто переезжал в город, нужно было привыкать к постоянным переменам: к колебаниям цен, сословным противоречиям, к иным общественным ситуациям. В городах гораздо чаще, нежели в сельской местности, можно было стать наблюдателем или участником различно-

го рода празднеств, процессий, «триумфов», карнавальных игр, непристойных забав, а также присутствовать при публичных пытках и казнях людей. В этом тесном, внутренне противоречивом мире жизнь порою становилась столь сложной и невыносимой, что необходимо было постоянно воспитывать в себе терпимость по отношению к чужому, умеренность и аккуратность. Именно это становилось жизненно важными чертами характера, второй натурой.

Русскому образованному человеку трудно не усмехнуться. Ну как же: *умеренность и аккуратность*, о которых еще в школе всем твердили, что это суть тяжелые пороки хитрых и духовно ограниченных людей — «господ Молчалиных». И почему-то никому не приходило на ум, что Молчалин — это дворянская, феодально-аристократическая идеология *среднего человека*, а средними людьми, или *разночинцами*, во всей Европе, в том числе и в России, были незнатные жители городов — низшее духовенство, чиновники, ремесленники, мещане (от польского *mieszczanie* — «горожане»). Это вовсе не значит, что Грибоедов был неправ в своей критике приспособленцев (таких как пройдоха Молчалин) — это означает лишь то, что поэт мыслил односторонне, как обеспеченный дворянин, в то время как необходимость приспособиться к многоликому городскому «плавильному котлу» являлась объективной необходимостью.

Самое время вспомнить о мещанских добродетелях. Первая и самая важная из них — *civilisatia*, по-русски *воспитанность*, иными словами следование правилам хорошего тона. Средневековые авторы хвалили жителей Майнца за их необыкновенную вежливость и учтивость; миланских женщин — за королевскую осанку, а граждан итальянского города Павии — за то, что они так сердечны в личных контактах и даже встают, когда кто-нибудь входит. С другой стороны, считалось неприличным слишком откровенное публичное покаяние или излияние эмоций, а больные и иные страдальцы не могли себе позволить слишком громко кричать или плакать прилюдно. Спонтанная, не втиснутая в общепринятые формы откровенность или неистовая, «юродивая» религиозность в европейских городах считались неприличными и неуместными<sup>5</sup>.

*Солидарность, соседская и корпоративная взаимопомощь* составляли вторую группу добродетелей<sup>6</sup>. Они ничуть не противоречили еще одной важной городской добродетели — *индивидуализму*. Весьма распространенной ошибкой многих русских наблюдателей западноевропейской жизни было по-

строение следующего силлогизма: коль скоро горожанин стремится быть индивидуалистом, то исходя из личных корыстных интересов он никогда не поможет ближнему, оставит его в беде, ибо видит в нем конкурента. Подобные рассуждения — плод недоразумения, причины которого кроются в особенностях сельского, дворянско-крестьянского мышления. Индивидуализм и эгоизм — далеко не синонимы. Первое — добродетель. Разумеется, добродетель городская, мещанская, но как долго мы будем придавать понятию мещанства лишь одно отрицательное значение? Второе — порок, который распространен всюду, в том числе и в деревне. Нет никакого парадокса в том, что именно индивидуалист больше уважает чужие личные интересы и чужие убеждения. В условиях городской скученности и социальной разнородности, чреватой конфликтами, всегда выгодно прислушаться к иначе мыслящему и живущему, даже к конкуренту, а в случае надобности и помочь ему, чтобы он также уважал твои взгляды и смог бы оказать тебе посильную помощь.

Разумеется, что сформулированная таким образом апология индивидуализма является идеальной схемой, однако в реальной жизни всё было гораздо сложнее и нередко бесчеловечнее. Переселение в город всё новых и новых крестьян из патриархальной деревни отнюдь не способствовало социальной гармонии. Но в принципе городское общество, как микрокосм, заключающий в себе по необходимости целую гамму малых микрокосмов, было не только цивилизованнее, но и солидарнее, то есть в конечном итоге гуманнее деревни, ибо солидарность как свободный индивидуальный выбор, а не навязанная самой природой необходимость означает отнюдь не триумф «мещанского» эгоизма, а наоборот, его посярание и обуздание.

Другими немаловажными мещанскими добродетелями была *точность и пунктуальность*, в своем крайнем проявлении перерождавшиеся в педантизм, которому немало досталось от многочисленных авторов-«почвенников». Механические часы, появившиеся на башнях ратуши или собора или церковных башнях на рубеже XIII и XIV веков<sup>7</sup>, надолго определили ритм жизни западноевропейских городов в целом — и каждого их жителя в отдельности. В мире, в значительной степени существовавшем за счет торговли, не могло быть иначе, ибо сама жизнь учила горожан, что время — деньги<sup>8</sup>, а деньги — это относительная свобода и относительный, но всё же прогресс. Беспольное времяпрепровождение счи-

талось первым и тягчайшим грехом<sup>9</sup>. Другой причиной уважительного отношения ко времени была насущная потребность в сохранении раз и навсегда установленного порядка. Беспорядки в городе могли привести не только к большим убыткам, но также к бытовым и социальным катаклизмам — например, к большим пожарам, к эпидемиям и бесконечным бунтам. Вот почему детей с малых лет не просто пускали на весь день во двор погулять, но и следили за тем, чтобы они возвращались домой с прогулки или из школы точно по часам.

Пунктуальность горожанина была непосредственным образом связана с двумя причинами: со спецификой городского труда, сводившегося к ремеслу, торговле или к учебно-научно-медицинской деятельности, и с ярко выраженной ограниченностью городской территории. Стены защищали город от грозившей ему со всех сторон опасности, и большая продолжительность жизни горожан по сравнению с крестьянами уже в XIII веке подтверждает этот неоспоримый факт. Но те же самые стены, порождавшие невообразимую скученность (а строить вне стен городское право категорически запрещало), обрекали жителей города на такое тесное, в прямом смысле слова, взаимодействие, что четкий распорядок и соблюдение строгого режима жизни, основанного на «часовом» ритме, становились самой насущной необходимостью. Безалаберность, расхлябанность и разболтанность в этих условиях оказывались недопустимой роскошью лишь «принцев» или «нищих».

Специфически западной чертой городской культуры и городской добродетелью было уважение к только натуральному, но также к *формально выраженной праву* и неукоснительная подчиненность установленному правопорядку. Еще Макс Вебер отмечал, что западноевропейский город в зрелой форме представляет собою совокупность пяти необходимых элементов: 1) крепостных стен с военным гарнизоном, 2) центральной рыночной площади, 3) резиденции автономного суда, 4) корпораций с юридически определенным статусом и 5) взаимно координированных органов самоуправления<sup>10</sup>. Населенные пункты, обладающие первыми двумя элементами, существуют на всем земном шаре, но только в Западной Европе и в некоторых бывших колониях западноевропейских стран жизнь городов определяется тремя последующими элементами, которые относятся к сфере правопорядка и управления обществом<sup>11</sup>.

Спешу заметить, что слово *управление* в данном случае следует понимать не с учетом привычных

всем нам русских коннотаций («управлять» означает для русского человека командовать сверху, с позиции полномочной власти, которая требует от подчиненных беспрекословного исполнения распоряжений начальства), а как эквивалент английского *management* или немецкого *Leitung*. Уже в доисторические времена в древнегерманских соседских общинах — марках — появились первые удачные попытки организовать свою жизнь самостоятельно, «снизу», и появились первые избираемые органы самоуправления — допустим, советы мудрецов (*witena gemot*) у англо- и саксов<sup>12</sup>. Эти попытки удались, и удались они *только* в германских землях, главным образом благодаря специфическому германскому праву, к которому относились очень серьезно, ибо у германцев не принято было обходить законы или решения суда стороной или ставить обычай над установленным и формально выраженным правом.

«Три кита» юридически закрепленного германского образа жизни — самоуправление, корпоративность и формальность общественных отношений — сыграли огромную роль в становлении судопроизводства, просвещения и, конечно, устройства жизни городов. Всем этим нужно было управлять, и по мере развития общества всё больше управленческих функций брали на себя не церковные, феодальные или политические иерархи, а само *гражданское общество*, используя для этого органы самоуправления. Западная Европа веками училась у германцев сложному искусству брать на себя ответственность за судьбы людей, не ожидая милости ни от неопределенной судьбы, ни от вполне определенного «начальства». Следует, однако, подчеркнуть, что ценою создания самоуправляемого общества был отказ от таких, казалось бы, «естественных» действий, как устройство дел «по-родственному» или «по знакомству», не прибегая к порою сложным судебным процедурам и обходя формальные запреты. В знаменитом трактате «Общность и общество» (1887) немецкий социолог Фердинанд Тённис впервые указал на кардинальное различие *Gemeinschaft* (общности низшего уровня, которая организована на основе неформальных, к примеру, кровно-родственных или дружеских отношений) и *Gesellschaft* (гражданского общества, организованного на формально-правовой основе)<sup>13</sup>. Нетрудно догадаться, что первый тип отношений более характерен для деревни, второй — для города, где друг с другом соседствуют не родственники, а люди с разными взглядами и интересами.

\* \* \*

Ценою уничтожения девственных лесов, исчезновения болот и загрязнения кристально чистых вод человек Запада достиг того, к чему особенно стремился, — личной свободы. Свобода в специфически западном понимании этого слова — порождение западноевропейской городской цивилизации, городского образа жизни. Старая немецкая поговорка «Городской воздух делает свободным» означала всего-навсего то, что если подневольному крестьянину удавалось убежать от своего сеньора и прожить в городе один год и один день, то он в полном соответствии с правом обретал личную свободу<sup>14</sup>. Однако в тесном пространстве города человеку дышалось свободнее также в более широком, переносном смысле. В городе человек работал и зарабатывал деньги не по велению господина, а на свой страх и риск или как наемный рабочий, который в любой момент мог уволиться. Неаграрный, в сравнительно небольшой степени зависящий от капризов природы характер городского труда явился залогом того, что «свободолюбие» любого, в том числе восточноевропейского города было универсальной чертой европейской культуры в целом. Макс Вебер в этой связи утверждал, что «и в древности, и в России, и на Западе с развитием денежного хозяйства город был тем местом, где совершался переход от несвободы в свободное состояние»<sup>15</sup>. При этом важно подчеркнуть, что главным субъектом городской свободы была отдельно взятая человеческая личность, что нисколько не противоречило принципам корпоративности и гражданственности: наоборот, только осознающий свои права, обязанности и известные ограничения *абсолютной* вседозволенности гражданин мог стать *относительно*, то есть реально свободным. Как верно указывал Д.С. Лихачев, в духовной сфере существовали три главные особенности общеевропейской культуры: личностное начало, восприимчивость к другим личностям и культурам и, наконец, свобода творческого самовыражения<sup>16</sup>. В Западной Европе к этому добавлялись еще две: свобода предпринимательства и свобода гражданской деятельности<sup>17</sup>.

В этом плане европейский город также противостоял деревне. По известному определению Роберта Редфилда, крестьянский мир представлял собою переходную стадию от примитивной общности к городскому гражданскому обществу Нового времени, основы которого были заложены уже в позднем Средневековье<sup>18</sup>. Своего рода «тирания» природы или, по меткому выражению Глеба Успенского,

«власть земли» приучили крестьянина мыслить реалистически и вполне конкретно, в духе элементарного, но не рационального здравого смысла. Ему трудно было мыслить абстрактно: он знал, что такое две мили, но не умел объяснить, что такое расстояние; он знал, кто такой король, но понятия не имел ни о власти, ни о государстве. Подходя к людям как к конкретным индивидам, без сословных, национальных или религиозных предрассудков, крестьянин был, как правило, добр и инстинктивно порядочен. Для индивидуальных, поистине свободных решений жизненных вопросов в деревне не было места, потому как личное честолюбие и личное самосознание обычно растворялись в групповом сознании большой семьи или деревенской общины<sup>19</sup>. Спешу, однако, заметить, что во втором тысячелетии христианской эры во многих странах Западной Европы крестьяне пользовались определенными правами: например, могли непосредственно пожаловаться королю на своего сеньора, а самое главное — право стояло на страже их собственности на землю, что отличало их от совершенно бесправных русских крепостных крестьян XVII–XIX веков<sup>20</sup>. Тем не менее крестьянские права были сильно ограничены по сравнению с правами горожанина, который, в отличие от крестьянина, уже в те далекие времена был *гражданином* своего города. Он обладал широкими, формально установленными правами и был в них заинтересован, а потому абстрактное мышление и правовое сознание были у него развиты несравненно выше, чем у крестьянина. Недаром в западноевропейских языках лексемы, обозначающие понятие «гражданин», происходят от слов «город» и «горожанин»: ср. французские слова *cité* и *citoyen*, английские (заимствованные из французского) *city* и *citizen*, немецкие *Burg* и *Bürger*. Послепетровская Россия пошла по тому же пути, образовав во времена братьев Паниных, Новикова и Радищева соответствующую кальку (*град* — *гражданин*).

Важнейшей гарантией городской свободы являлась *частная собственность*. Этот древнейший правовой институт обрел наиболее сложные, продвинутые формы именно в Западной Европе. В V–X веках вотчинное землевладение, преобладавшее в континентальной Европе, по сути дела, напоминало порядки, господствовавшие в восточных деспотиях, ибо тот, кто осуществлял политическую власть (суверенитет), в то же самое время являлся собственником подчиненных ему земель и живших на них людей. Теоретически вся земля в вотчине принад-

лежала властелину (суверену), а остальные жители этой территории пользовались ею условно (например, в форме ленна). Со временем, однако, условное землевладение всё чаще трансформировалось, становясь практически независимым от суверена, и переходило по наследству от поколения к поколению. В XI веке Запад заново открыл римское право, которое ясно и однозначно определяло институт частной земельной собственности, и процесс превращения вотчин в частные феодальные поместья и крестьянские наделы еще более ускорился<sup>21</sup>. В великолепной работе «Дух, лицо и стиль русской культуры» Федор Степун, говоря о том, что «ни как колонизатор, ни как крепостной, ни как общинный крестьянин не был русский сельский работник полным хозяином своей земли», вспоминает немецкое слово *Scholle*, обозначающее как раз такой, совершенно *свой* участок. «Звучащее почти сакрально в немецком языке, это слово почти непереводаемо на русский»<sup>22</sup>, — замечает философ, в равной мере принадлежавший и к русской, и к немецкой культуре.

И всё-таки ничто так не способствовало появлению и широкому распространению развитых форм частной собственности и прав, регулирующих взаимные отношения собственников, как появление городских общин. Если в деревне вотчину можно было превратить в частный земельный надел медленно, незаметно и неформально, то в городе подобные процессы сразу же приобрели легальные формы. Дело было в том, что товары можно было продавать, а деньги пускать в оборот или инвестировать только тогда, когда их обладатель становился их несомненным легальным владельцем.

Поскольку торговля предполагает, что продавец действительно обладает каким бы то ни было товаром, и поскольку торговля, основанная на отсроченной во времени доставке товара или позднейшей оплате, составляет главный предмет всевозможных сделок, становится практически неизбежным то обстоятельство, что собственность и связанные с ней договорные отношения в жизни города должны занимать столько же места, сколько они занимают в разного рода капиталистических институтах<sup>23</sup>.

Таким образом, характер специфически городских занятий стал причиной того, что тон в городе задавали частные владельцы. Частными, то есть принадлежавшими обособленным, индивидуальным владельцам, были земельные участки, на которых могло вестись строительство, жилые дома, торговые и хозяйственные помещения, а также движимое иму-

щество — деньги, товары, одежда, предметы домашнего обихода и прочее.

К началу XIII века старые феодальные обычаи, сильно ограничивающие свободу предпринимательства и воспринимавшиеся третьим сословием как унижительные, были практически везде на Западе заменены либеральными системами, защищавшими интересы горожан. Предприниматели пользовались услугами независимых городских судов, могли свободно нанимать рабочих, осуществляли контроль над весами, складскими помещениями и рынками<sup>24</sup>. Во всем этом еще не было ничего принципиально нового: точно так же обстояли дела и в городах античного мира. Неслыханное доселе новшество заключалось в том, что в феодальном мире, где каждый человек был подчинен другому человеку, а то и прикреплен к земле, появилось целое сословие иного рода собственников — живших за счет ремесла и торговли, богатых, а главное, *лично свободных*. И хотя социалисты XIX века не без основания указывали на темные стороны свободы, основанной на частной собственности, неоспоримо то, что и наемный работник, и даже обнищавший пролетарий, которому, по словам Маркса, нечего терять, кроме своих цепей, в отличие от крепостного крестьянина, всё равно обладает личной свободой. Никто не отнимет у него права свободного выбора жизненных путей, никто не в силах заставить лишь согласно обычаю, без собственного согласия совершать те или иные поступки, никто наконец не может заставить его даром работать на себя и на других. Если сегодня у него нет ни свободы, ни собственности, завтра то и другое *может* появиться — хотя это не значит, что обязательно появится. Мир частной собственности, он же мир общественно ограниченной, компромиссной или договорной свободы, — это мир, где человеку предоставлены определенные *шансы*. Только лишь шансы, но всё же шансы.

Ричард Пайпс открыл необычайно важную закономерность, которую можно охарактеризовать как прямо пропорциональную зависимость между развитостью двух общественных институтов — частной собственности и гражданской свободы. Там, где частная собственность признается неотъемлемым правом каждого человека и охраняется законом, более того — где она испокон веков сопутствует каждому человеку, как естественная и органическая часть его жизни, там человек на самом деле свободен<sup>25</sup>.

Не *абсолютная* свобода, волновавшая умы «вольных казаков» и утопистов, а свобода *реальная*

и приемлемая для всех, основывается на взаимном компромиссе. Чтобы его достичь, нужны хорошо налаженные договорные отношения. Нужны механизмы, позволяющие не полюбовно, не по обычаю, а формальным образом регулировать конфликты и споры — в том числе с сильными мира сего, магнатами и монархами. Одним словом, нужно *право*. И кроме того, нужно правовое сознание, которое благоприятствует его нормальному функционированию. Демократические свободы получили наибольшее развитие именно в Западной, а не в Восточной Европе, потому что Западу — в силу разных обстоятельств — уже к XIII веку удалось в известной степени освоить или покорить природу, отделить от нее город — уникальную лабораторию относительно свободной жизни, свободного предпринимательства и общественного самоуправления, а затем там же, в городе, выработать хорошо продуманную и гибкую правовую систему, стоящую на страже как частной свободы, так и частной собственности. В этой связи обычно упоминают два великих документа — Великую хартию вольностей (Magna Carta Libertatum, 1215), которую король Иоанн Безземельный пожаловал городским общинам Лондона и других городов королевства, и немецкую Золотую буллу (Bulla aurea, 1222). Знаменательный факт: оба документа датируются XIII веком, причем первый из них формально является договором, подписанным папой Иннокентием III, королем и представителем лондонских баронов.

Если феодальный договор составил основу современного конституционализма, то привилегии, полученные горожанами от местных властелинов, можно считать фундаментом современных гражданских прав. Все мужчины, жившие в пределах городских стен, обладали, в соответствии с Магдебургским правом или с его аналогами, одинаковым правовым статусом и правом участвовать в общих коммунальных собраниях. Это было беспрецедентным новшеством, поскольку воплощало в жизнь невиданный доселе принцип территориального права, вместо прав, обусловленных позицией в социальной иерархии. Лично свободными были все без исключения жители таких городов<sup>26</sup>.

Так посреди аграрного общества, как оазисы среди пустыни, появились островки свободы, правопорядка и гражданского самоуправления. С этого момента *urbanitas* может не только рифмоваться с *libertas*, но и в значительной степени становится синонимом свободы<sup>27</sup>.

\* \* \*

А что было на Руси?

Начну издалека, то есть... с современности. Даже сейчас, в эпоху всемирной глобализации и культурной униформизации, и житель России, и ее иностранный наблюдатель может легко убедиться в том, что русская культура глубоко дихотомична. Существует *интеллигентный* образ жизни, для которого характерным является высокий общий уровень образованности, цивилизованные (в западном понимании этого слова) формы внешнего поведения, высокие нравственные требования, умение держать свою волю и эмоции в известных границах и еще многое другое, многократно описанное русскими писателями. Но интеллигентов в России мало. Преобладает иной тип культурного поведения. В советские годы его можно было бы назвать *колхозно-совхозным*, причем это определение вполне подходило и ко многим жившим в городе рабочим, а также к людям умственного труда (по официальной номенклатуре — «служащим»), да и поведение многих офицеров Советской Армии, милиционеров, вахтеров или бухгалтеров в принципе не отличалось от поведения колхозников. В последние два десятилетия, в связи с естественной сменой поколений, вместо колхозно-совхозного малокультурного типа приходит человек «попсы», то есть потребитель масс-культуры, яркими примерами которой могут служить рестораны фирмы «Макдоналдс», различные телешоу и низкопробные сериалы.

Так или иначе, на протяжении всего XX века тонкому образованному слою в России противостояла могучая стихия полуобразованности. Но особенно примечательно в данном случае то, что третьей культурной силы, которая способствовала бы взаимопониманию или хотя бы сглаживанию существующего между простонародьем и интеллигенцией антагонизма, в нашей стране пока что не существует.

Причиной подобной ситуации обычно считается развращающее влияние советского образа жизни. В самом деле, трудно переоценить крайне отрицательную роль советского строя и не согласиться с тем, что такой «культурный тип», как булгаковский Шариков, не мог появиться ранее 1917 года. В результате целой серии исторических катаклизмов, потрясавших Россию, начиная с проигранной Первой мировой войны и кончая красным террором и введением эпохи «военного коммунизма» появились и Швондеры с маузерами, и Шариковы. Однако культурной триады (аграрно-крестьянский традиционализм — феодаль-

ная куртуазность — бюргерский демократизм) в качестве основополагающего принципа всего строя национальной культуры в России не существовало и до Первой мировой войны, несмотря на наличие трех соответствующих ей общественно-хозяйственных укладов. При самом поверхностном взгляде на Россию классического периода (вторая половина XVIII — начало XX века) вновь и вновь бросается в глаза очевидная социально-культурная дихотомия. С одной стороны, мы видим нищую *допетровскую* деревню, с другой же — богатую дворянскую усадьбу, колыбель и надежное прибежище высочайших достижений отечественной культуры, обитатели которой вели себя вполне *по-европейски*. И это несмотря на то, что жизненная практика неразрывно связывала высшее и низшее сельское сословие множеством неразрывных нитей. У дворян и крестьян, как в Западной Европе и во всем остальном мире, была общая забота — вовремя вспахать землю, вырастить и собрать урожай, обеспечить хороший приплод скота. Однако культурные навыки и культурные традиции русского крестьянина и русского дворянина классической поры восходили к совершенно разным источникам. Даже по-русски они как бы говорили на разных языках<sup>28</sup>, потому что были воспитаны в духе разных представлений об основополагающих ценностях и пользовались разными культурными кодами, а следовательно, были обречены не только на сословный антагонизм, но и на полное взаимное непонимание.

Не книжные и заморские — христианские, а «тутошные», «нормальные», — то есть *языческие* представления преобладали в миросозерцании и во внутренне когерентной системе ценностей крестьянина. В то же время культурное поведение русского образованного дворянства было основано не на продолжении средневековой национальной традиции, а на подражании западным — *античным* и *христианским* образцам. Традиции древнерусских бояр и дружинников были не просто давно забыты — на протяжении ряда веков они запрещались и насильственно подавлялись верховной государственной властью, поскольку последняя не без причины видела в них культурную программу политической оппозиции. Последнюю точку в этом процессе поставила деятельность Петра I. Понимая глубочайший драматизм подобного рода преобразований, я не вижу в них, однако, признаков катастрофы и в целом оцениваю

их положительно, потому что дальнейшее развитие элитарной отечественной культуры (но не культуры социальных низов) обеспечило ее небывалый расцвет и принесло честь и славу нашему Отечеству. Как справедливо заметил Герцен, русский народ «в ответ на царский призыв образоваться — ответил через сто лет громадным явлением Пушкина»<sup>29</sup>, — а после Пушкина явились Гоголь и Достоевский, Чайковский и Менделеев, Мейерхольд и Бахтин. Вряд ли всё это было бы возможно без насильственного петровского поворота. Позволю себе всё же обратить внимание на то обстоятельство, что просвещенное русское дворянство XVIII века, обращая взоры на современную ему Западную Европу, усваивало не куртуазную культурную модель в ее чистой, то есть феодально-антибюргерской форме, а именно *городскую* западную культуру, облагороженную на заре Нового времени благодаря многовековому ее диалогу с королевским дворцом, феодальным замком и усадьбой знатного землевладельца.

Именно дворянство, зачастую вопреки своим так называемым «классовым интересам», взяло на себя задачу демократизации и рационализации общественной жизни и культурных образцов, в определенном смысле выполняя в России ту же роль, которая на Западе стала уделом третьего сословия<sup>30</sup>. Дворянские усадьбы явились очагами городской упорядоченности, городского демократизма, городской веротерпимости посреди чуждой всему этому стихии полуазиатского русского села<sup>31</sup>. В противоречивом, дихотомичном строе общенациональной культуры ее магистральная дворянская линия развития в конечном итоге оказалась ближе по духу исконно городской, разночинно-интеллигентной — их трудный диалог во второй половине XIX века всё же оказался возможным и плодотворным. Однако этому вселяющему надежду согласию, как безмолвный Сфинкс, противостояла культура крестьянского большинства, предвещая одну из величайших трагедий жестокого XX века — трагедию русской городской интеллигенции в бушующем море «колхозности» и «совхозности». Одной из причин нашей национальной трагедии было то, что западноевропейская тринитарная система взаимодействия социально-культурных традиций так и не была воспринята в России, которая оставалась верна культурной бинарности, — в духе раннесредневекового *pro et contra*.

2. Краков

**Примечания**

<sup>1</sup> Ср.: Иконников А.В. Искусство, среда, время (Эстетическая организация городской среды). М.: Советский художник, 1985. С. 241.

<sup>2</sup> Мф. 13, 42.

<sup>3</sup> Braudel F. *Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XV–XVIII siècle. Les structures du quotidien, le possible et l'impossible.* Paris, 1979. P. 392. Ср. русский перевод: Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика, капитализм. XV–XVIII вв. Т. 1: Структуры повседневности: возможное и невозможное / Пер. с франц. Л.Е. Куббеля. Вступ. статья и ред. Ю.Н. Афанасьева. М.: Прогресс, 1986.

<sup>4</sup> Rossiaud J. *Mieszczanin i życie w mieście // Człowiek średniowiecza / Pod redakcją J. Le Goffa. Tłumaczyła M. Radożycka-Paoletti.* Warszawa–Gdańsk: Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, Wydawnictwo MARABUT, 1996. S. 210–211.

<sup>5</sup> Там же. S. 220–223.

<sup>6</sup> Там же. S. 198–199.

<sup>7</sup> Изобретателем механических часов в Европе принято считать французского математика и механика Жербера д'Орийяка, впоследствии папы Сильвестра II (Gerbert d'Aurillac, 935–1003). Историки, однако, предполагают, что в Китае подобные часы были известны уже в VIII веке. Первое упоминание о башенных механических часах содержится в тексте «Божественной комедии» Данте. Согласно сохранившимся документам, башенные часы в Милане появились в 1335, в Падуе в 1344, в Лондоне в 1348, в Страсбурге в 1354, во Вроцлаве (Брацлаве, Бреслау) в 1368, а в Париже в 1370 году. См.: Mrugalski Z. *Czas i urządzenie do jego pomiaru: Zegary dawne i współczesne.* Warszawa: Cursor, 2008. S. 18.

<sup>8</sup> Бенджамен Франклин, который в 1748 году в «Советах молодому купцу» торжественно провозглашал: «Помни, что время – деньги» и «Деньги порождают деньги» (Franklin B. *Adrise to a young tradesman // Franklin B. The Works of Benjamin Franklin: containing several political and historical tracts not included in any former edition and many letters official and private, not hitherto published: with notes and a life of the author / By Javed Sparks.* Boston: Hilliard, Gray and Company, 1836–1840. Vol. II. P. 87) – по всей вероятности, не был первооткрывателем этих двух неоспоримых истин, по сей день определяющих поведение капиталиста-хозяина и капиталистического труженика.

<sup>9</sup> Weber M. *Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus.* Tübingen, 1934. P. 148.

<sup>10</sup> Weber M. *Wirtschaft und Gesellschaft / 3. Ausgabe.* Tübingen, 1947. S. 523.

<sup>11</sup> Пайнс Р. Россия при старом режиме / Пер. с англ. В. Козловского. Изд. 2-е, испр. Кембридж, Массачусетс, Harvard University Press, 1980. С. 264.

<sup>12</sup> Pipes R. *Property and Freedom.* New York: Alfred A. Knopf Inc., 1999. P. 190–194. P. 190–194.

<sup>13</sup> Теннис Ф. *Общность и общество. Основные понятия чистой социологии.* СПб.: Фонд «Университет», 2003.

<sup>14</sup> Перцик Е.Н. *Города мира. География мировой урбанизации.* М.: Международные отношения, 1999. С. 92.

<sup>15</sup> Вебер М. *Город / Пер. Б.Н. Попова.* Под ред. Н.И. Кареева. Пг.: 1923. С. 30.

<sup>16</sup> Лихачев Д.С. *Русская культура.* М.: «Искусство», 2000. С. 45.

<sup>17</sup> Последнюю не следует путать с деятельностью политической. Граждане западных стран получили политические права сравнительно недавно, в результате широкого распространения идей Просвещения к концу XVIII века.

<sup>18</sup> Redfield R. *Peasant Society and Culture.* Chicago: University of Chicago Press, 1956. P. 23.

<sup>19</sup> Пайнс Р. Россия при старом режиме... С. 204–208.

<sup>20</sup> Там же. С. 201–202.

<sup>21</sup> См.: Kowalewsky M. *Die Ökonomische Entwicklung Europas bis zum Beginn der kapitalistischen Wirtschaftsform.* Bd. 1. Berlin, 1901; Bloch M. *La société féodale; la formation des liens de dépendance.* Paris: A. Michel, 1939. 3. 190–210.

<sup>22</sup> Стенун Ф.А. Сочинения / Составление, вступительная статья, примечания и библиография В.К. Кантора. Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000. С. 585.

<sup>23</sup> Rosenberg N., Birdzell L.E., Jr. *How the West Grew Rich.* New York: 1986. P. 50; цит. по: Pipes R. *Własność i wolność...* S. 167. Перевод с польского мой. – В.Щ. Ср. также категорическое заявление Макса Вебера: «Не существует никакого связанного с деньгами объекта, который не имел бы отношения к индивидуальному владению» (Weber M. *General Economic History.* New Brunswick–New York: Transaction Books, 1981. P. 236; цит. по: Pipes R. *Własność i wolność...* S. 167, примеч.).

<sup>24</sup> Rossiaud J. *Mieszczanin i życie w mieście...* S. 182–183.

<sup>25</sup> Pipes R. *Property and Freedom...* P. 9–14.

<sup>26</sup> Там же. P. 169–170.

<sup>27</sup> Интересно, что однокоренными словами латинского *libertas* – ‘свобода’ являются городские, «цивилизованные» понятия – *liber* – ‘книга’ и *libra* – ‘весы’. С другой же стороны, от пассивного глагола *liceri* – ‘торговаться’ образовано существительное *licentia* – ‘вольность, свобода делать что угодно’ (ср. *licet* – ‘можно, позволено’).

<sup>28</sup> Впрочем, в конце XVIII – начале XIX века, когда для многих представителей высшего дворянства родным языком и языком ежедневного общения был французский, далеко не все представители русской нации могли объясниться по-русски.

<sup>29</sup> Герцен А.И. *Собр. соч.:* В 30 т. М.: Издательство АН СССР, Наука, 1954–1966. Т. VI. С. 18.

<sup>30</sup> Кантор В.К. *Санкт-Петербург: Российская империя против российского хаоса. К проблеме имперского сознания в России.* М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. С. 245–260.

<sup>31</sup> Щукин В.Г. *Российский гений просвещения. Исследования в области мифопоэтики и истории идей.* М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. С. 243–246.

■ □ ■